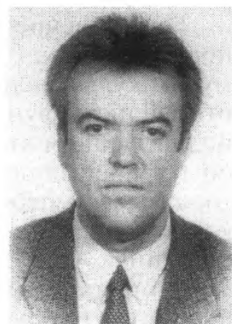


## В ЛАБОРАТОРИИ УЧЕНОГО

Д. В. Бугров

### **ГЕРМАНИЗМ В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ ИДЕИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕРМАНИИ В ОТРАЖЕНИИ РУССКОГО УТОПИЧЕСКОГО ТРАДИЦИОНАЛИЗМА РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ**



Непростая история взаимоотношений русского и германского народов, прошедшая в XX столетии через горнило двух опустошительных мировых войн, служит предметом изучения многих представителей гуманитарных наук обеих стран. Особое место в ряду проблем, характеризующих динамику процесса межкультурного общения и взаимодействия, занимает вопрос о восприятии друг друга великими соседями по большому европейскому «дому», о стереотипах и фобиях, которые в течение длительного времени служили (и отчасти продолжают служить) неким препятствием на пути к обоюдовыгодному диалогу<sup>1</sup>. Примечательно, что к концу XX века из поля зрения исследователей не ускользнула и столь любопытная проблема, как соотношение идеологии консерватизма на материалах истории общественно-политической мысли России и Германии<sup>2</sup>.

Окончательное преодоление взаимного недоверия и настороженности невозможно без развенчания предубеждений и отказа от привычных поведенческих схем – таких, как противопоставление «своего» и «чужого», порождающее весьма живучие предубеждения, передаваемые из поколения в поколение. XXI столетие – конечно, если оно действительно явится столетием торжества прогресса, разума и гуманизма – неизбежно поставит перед человечеством чрезвычайно непростую задачу. Речь идет о необходимости отказа от антиномии «свой – чужой» и перехода к дихотомии «свой – другой». Хочется верить, что доминантой в глобальном межнациональном диалоге станет трансформация мни-

мых антиподов в реальных симбионтов, – в противном случае начавшийся техногенный век может породить такие катаклизмы, перед которыми ужасы минувших эпох покажутся невинными забавами периода детства или отрочества цивилизации.

Известно, что ни один из европейских народов не вступал с русским в столь тесное, долговременное и многоуровневое взаимодействие во всех его проявлениях (от партнерства к противоборству и наоборот), как германский народ. Это взаимопроникновение было и остается чем-то гораздо более широким и глубоким, чем простое соприкосновение центрально-европейского гегемона с восточноевропейским.

Преодоление стереотипов невозможно без идентификации причин, их порождающих. Сегодня, когда мир адаптируется к вызовам глобализма и мультикультурализма, комбинирует новации и традиции, определяет свое отношение к фундаментализму и робко пробует на вкус диковинный плод под названием «толерантность», представляется актуальным обращение к опыту предыдущего излома веков – эпохи, когда XIX век с его верой в торжество и необратимость прогресса уступал место новому столетию, которое поставило под вопрос практически все ориентиры века-предшественника. Особенно интересен, на наш взгляд, анализ набора средств и методов, имевшихся в арсенале тех, кому по определению было присуще неприятие иностранного влияния как чуждого и вредоносного, – ревнителей традиций, которые, находясь на консервативных позициях, поддерживали и развивали сложившиеся догмы. Реанимируя стереотипы, противопоставляя «чужому» – «свое», традиционалисты стремились показать, что у «чужого» нет будущего, что оно эфемерно и обречено.

С. П. Хантингтон, типологизируя консервативное мышление, выявил такие подходы к его изучению, как «автономный» (рассматривающий консерватизм вне политической конъюнктуры и обусловливающий его психологическими наклонностями части социума), «ситуационный» (утверждающий, что консерватизм – идеология, проявляющаяся во всех исторических ситуациях, когда возникает явный вызов существующему социальному порядку) и «аристократический» (трактующий консерватизм как мировоззрение общественных сил, против которых направлена буржуазная революция)<sup>3</sup>.

В 1929 году К. Мангейм, анализируя утопическое сознание в своем фундаментальном труде «Идеология и утопия», отметил и любопытный феномен консервативного утопизма<sup>4</sup>. В другой работе, специально посвященной консервативному мышлению, известный немецкий социолог детально дифференцировал традиционализм и консерватизм. Традиционализм, на его взгляд, имманентно «полуреактивен» и, следовательно, преимущественно психологичен, инстинктивен и дорефлексивен. Консерватизм же, напротив, сознателен и рефлексивен, поскольку является более поздним инструментом оберегания традиции. «Традиционалистское поведение представляет собой практически чистую серию реакций на раздражители, – пояснял К. Мангейм. – Поведение консервативное – осмысленно, вдобавок осмысленно по отношению к изменяющимся от эпохи к эпохе обстоятельствам»<sup>5</sup>.

Спустя сорок лет польский социолог Е. Шацкий двинулся дальше и, прослеживая различия и взаимосвязь утопии и традиции, предложил рассматривать консерватизм как одну из двух разновидностей традициона-

лизма – ту, главным мотивом которой является стремление сохранить и упрочить сложившийся порядок вещей. Именно этим консерватизм отличается от архаизма – другой формы традиционалистского мироощущения, отстаивающей необходимость уничтожения существующего порядка во имя восстановления некогда утраченных истинных ориентиров и ценностей. Таким образом, согласно концепции Е. Шацкого, традиционализм может являть собой попытку консервации (консерватизм) либо реставрации (архаизм) некоего наследия, которое уходящее поколение должно передать сменяющей его генерации<sup>6</sup>.

П. Ю. Рахшмир, авторитетный российский исследователь консервативной идеологии в прошлом и настоящем, выделяет три варианта консерватизма: традиционалистский, либеральный (умеренный) и экстремистский<sup>7</sup>.

Следует отметить, что убеждения русских традиционалистов рубежа XIX–XX веков в целом соответствовали основным постулатам доктрины консерватизма в том виде, как ее резюмировал С. П. Хантингтон: фундаментом общества является религия; общество развивается путем передачи мудрости предшествующих поколений последующим; опыт и обычай предпочтительнее, нежели разум и логика; коллектив выше личности; люди не равны, и это неравенство закрепляет сословная организация общества.

Российские историки в последние годы уделяют особое внимание изучению специфики отечественного консерватизма. Это вполне объяснимо, ведь в предшествующий период данная проблема могла рассматриваться советскими исследователями лишь в контексте пресловутого торжества победившего социализма над реакционной монархической идеологией. В 1990-е годы в России появились серьезные работы, посвященные развитию консервативной парадигмы в историческом контексте<sup>8</sup>.

Значительный интерес представляют материалы дискуссии, развернувшейся на страницах журнала «Отечественная история» уже в новом тысячелетии. А. В. Репников резонно отмечает, что, «несмотря на принадлежность к консервативному лагерю многих выдающихся писателей, историков и философов, единой “консервативной теории” в России так и не сложилось». При этом «смешение либеральных и консервативных элементов мировоззрения тех или иных деятелей говорит не столько о двойственности их сознания, сколько о еще одной специфической черте русского консерватизма». К тому же, как справедливо указывает А. В. Репников, «под воздействием модернизационных процессов, происходивших в стране на рубеже XIX–XX веков, русский консерватизм не оставался чем-то неизменным». Ближе к концу XIX века старая ценностная «триада» («православие, самодержавие, народность») также нуждалась в обновлении, и консервативные круги «пытались сконструировать на базе охранительной традиции новую, достаточно мобильную идеологию, которая должна была противостоять набиравшим силу и вес в обществе либеральным и социалистическим идеям». При всем многообразии различных проектов, по мнению А. В. Репникова, базовые концептуальные постулаты российского консерватизма рубежа XIX–XX веков вполне могут быть идентифицированы: признание своеобразия, самобытности политического и духовно-нравственного пути развития России; констатация доминирующей роли государства и незыблемости самодержавной власти; стержневая религиозная константа (тезис о православии как единственной «незамутненной» разновидности христианства и вывод о богоизбранности России и ее осо-

бом предначертании); стремление к сохранению сложившейся общественной иерархии в виде сословного строя; настороженное отношение к развитию капитализма в стране и требование учета специфики отечественной экономики (в особенности – общинного уклада российской деревни); последовательная критика либерализма, парламентаризма и социализма<sup>9</sup>.

В свою очередь, В. В. Зверев определяет консерватизм как «явление, постоянно присущее человеческому обществу, своеобразный противовес безоглядной вере в прогресс и нигилистическому отрицанию традиционной культуры». Консерватизму присуща преимущественно защитная функция, и поэтому, с точки зрения В. В. Зверева, «недостаток наступательности в консервативной идеологии является одной из изначально присущих ей слабостей». Эта слабость, свойственная консерватизму вообще, в России усугубилась несовпадением «консерватизма элитарного» (воплощенного в идеологические формулировки и конструкции) и «консерватизма народного» (крестьянского, житейского). Закономерным итогом стало политическое фиаско консервативного движения в России начала XX столетия<sup>10</sup>.

Версия К. Мангейма о том, что развитие консервативной утопии во многом определяется развитием ее антиподов<sup>11</sup>, не вызывает возражений – по крайней мере на русском материале. В самом деле, дифференциация утопических сюжетов этого направления в XIX веке шла под воздействием либеральной литературы, а затем, к началу XX столетия, утопический традиционализм, защищавший неограниченную монархию и православную ортодоксию, идентифицировал себя в упорной борьбе с утопизмом социалистическим. Но, помимо отечественных либералов и социалистов, под огонь критики российских консерваторов неминуемо попадали и их зарубежные собратья. Болезненно протекавший модернизационный процесс вызывал реакцию отторжения у русских традиционалистов, в полный голос заявлявших о себе на литературном поприще. Не случайно, по распространенному в филологической среде мнению, «литература XIX столетия, во многом опережая отечественную философскую мысль этого времени (идея особой предопределенности русской судьбы, мессианства, эсхатологическая идея), создает свой образ России и русского человека»<sup>12</sup>. Этому образу усилиями консервативных идеологов был противопоставлен бездуховный, эгоистично-рациональный образ Европы и европейца. И если поначалу мишенью сторонников традиционализма по понятным причинам, обусловленным франкофонным космополитизмом русской аристократии, являлись Франция и французы (как в утопических сюжетах Ф. В. Булгарина), то к исходу XIX века, в силу изменившихся социально-экономических и внешнеполитических реалий, внимание российских критиков европеизма и вестернизации акцентируется на Германии и ее жителях. Закономерно, что антиномия «германский – русский» нашла отражение и на бытовом уровне (вспомним: «что русскому хорошо, то немцу – смерть», «русский мечтает – немец строит планы»).

Интерес к германскому опыту подогревался среди апологетов русской идентичности еще и потому, что, как гораздо позднее, в 1947 году, тонко подметил религиозный мыслитель Г. П. Федотов (специалист по русской духовности, почти четверть века проживший в эмиграции), любопытство вызывало «национальное чувство Германии, самой динамической нации Европы»<sup>13</sup>.

Известный приверженец идеи русского мессианизма Л. А. Тихомиров, автор фундаментального труда «Монархическая государственность» (1905), отмечал, что невозможно предугадать длительность существования той или иной национальной общности: «Государство и нация живут не один день, а неопределенно долгий период, который, по мерке дня, является “вечностью”. Мы даже не можем сказать, есть ли срок жизни государства и народа»<sup>14</sup>.

Закономерно предположить, что вопрос о «сроке жизни» великого западного соседа, окончательно оформившегося в 1871 году в Германскую империю, весьма волновал общественное мнение России – и не в последнюю очередь той его части, которая и на пороге новейшего времени продолжала настойчиво защищать ценности отечественного традиционализма.

К. П. Победоносцев, виднейший консервативный теоретик и практик 2-й половины XIX – начала XX века, говоря о борьбе славянофилов 1830–1850-х годов с «тлетворным» влиянием «надвигавшейся с Запада тучи космополитизма и либерализма», видел в аксаковском кружке «крепость здорового русского патриотического чувства», возведенную для защиты «инстинкта русской природы» от конкретного врага. Показательно, что могущественному обер-прокурору Святейшего синода главной угрозой виделись вовсе не британские либералы или французские социалисты, а «фальшивые» идеи, проникавшие в Россию именно из Германии: «То было время, когда Арнольд Руге в Германии проповедовал, что следует полагать основною целью совсем не отечество ... а свободу, и что истинное отечество для ищущих свободы людей есть партия»<sup>15</sup>. Удрученный тем, что на Западе «древние основы христианской государственности» подвергаются натиску «нахлынувших волн либерализма», К. П. Победоносцев тревожно заметил: «Провозглашается освобождение государства от церкви – до церкви ему дела нет. Провозглашается и отрешение церкви от государства: всякий волен веровать как угодно или ни во что не веровать». И вновь наибольшее беспокойство автора «Московского сборника» вызвал германский пример, который весьма заразителен: «Символом этой доктрины служат основные начала, провозглашенные Франкфуртским парламентом 1848/49 года».

Исторические перспективы объединенной Германии казались К. П. Победоносцеву весьма туманными. Он негативно оценивал практику выборов в ландтаги и рейхстаг; последствия этой практики виделись ему в пессимистическом свете: «В Германии введение общей подачи голосов имело несомненную целью утвердить центральную власть знаменитого правителя, приобретшего себе великую популярность громадными успехами своей политики... Что будет после него, одному Богу известно»<sup>16</sup>.

После смерти Вильгельма I значительная часть русского дворянства с критической иронией и вместе тем с опасливой настороженностью присматривалась к Вильгельму II (этот оценивающий взгляд запечатлен в дневниковых записях правоконсервативного общественного деятеля, видного издателя А. С. Суворина)<sup>17</sup>.

В 1871 году, в период очередного обострения восточного вопроса, пробудившего всплеск панславистских настроений, Н. Я. Данилевский, классифицируя «культурно-исторические типы», понимаемые им как «самобытные цивилизации», живущие, развивающиеся и умирающие по особым законам, вычленил «германо-романский, или европейский тип». Этому типу, по убеждению известного русского биолога, свойственны насиль-

ственность, чрезмерно развитое чувство индивидуальности<sup>18</sup>. Выстроив систему антропологических аргументов, он попытался доказать, что европейцы (в первую очередь германцы), будучи представителями «прямолюстных длинноголовых племен», по природе своей уступают славянским народам и тюркам, которые принадлежат, по его мнению, к «прямолюстным короткоголовым племенам». И в социально-политическом, и в экономическом, и в культурном отношении гармоничная четырехосновная славянская цивилизация также имеет больше перспектив, нежели двуосновный германо-романский тип с его «преимущественно научным и промышленным характерами культуры»<sup>19</sup>.

Критикуя Петра I и его ближайших преемников за «европейничанье», Данилевский настаивал на том, что в своем преклонении перед Европой правящие круги Российской империи до последней трети XVIII столетия (до Екатерины II) относились к России «с одною лишь ненавистью, с одним презрением, которым так богато одарены немцы ко всему славянскому, в особенности ко всему русскому». Содержание европейской истории с VIII по XVIII век, как полагал Данилевский, составлял «период напора Запада на Восток, или, точнее, период напора германо-романского, католического и протестантского мира на православный славяно-греческий мир, — период, длившийся от дней Карла Великого до дней Екатерины Великой». С конца XVIII века, с обозначением ближневосточных приоритетов российской внешней политики, началась новая эпоха — эпоха «отпора Востока Западу, отпора славяно-греческого мира миру германо-романскому»<sup>20</sup>.

Любой из русских консерваторов мог бы подписаться под заключением К. П. Победоносцева: «Непомерное развитие материальной цивилизации всюду приводит к оскудению духовных начал, добра и правды и к распространению лжи в социальном быте и в социальных отношениях»<sup>21</sup>. Проще говоря, формула Победоносцева такова: *материальное благополучие = бездуховность*.

Позднее, в 1922 году, эту проблему применительно к опыту Германии развил мыслитель, прошедший непростой путь от левого либерализма к русской идее, — Н. А. Бердяев. В статье «Воля к жизни и воля к культуре» он пришел к тому же выводу, что и ранее Победоносцев, но в несколько ином выражении, ибо поменял слагаемые формулы местами: *высокая духовность = материальное неблагополучие*. Бердяев противопоставил культуру и цивилизацию и сформулировал своеобразный закон обратно пропорционального соответствия уровней духовной культуры и материального благополучия: «Культура всегда бывала великой неудачей жизни. Существует как бы противоположность между культурой и “жизнью”». Поборник русской исключительности отдал должное германскому гению: «Высший подъем и высшее цветение культуры мы видим в Германии конца XVIII и начала XIX века, когда Германия стала прославленной страной “поэтов и философов”. Трудно встретить эпоху, в которой была бы осуществлена такая воля к гениальности. На протяжении нескольких десятилетий мир увидел Лессинга и Гердера, Гете и Шиллера, Канта и Фихте, Гегеля и Шеллинга, Шлейермахера и Шопенгауэра, Новалиса и всех романтиков. Последующие эпохи с завистью будут вспоминать об этой великой эпохе».

Вместе с тем, отмечал Н. А. Бердяев, при всем расцвете культуры собственно «жизнь» в ее материальном понимании в Германии того времени «была бедной, мещанской, сдавленной». По мнению русского мыслителя,

«Германское государство было слабым, жалким, раздробленным на мелкие части, ни в чем и нигде не было осуществлено могущество “жизни”, культурное цветение было лишь на самых вершинах германского народа, который пребывал в довольно низком состоянии».

Что же касается объединенной Германии, то она, по убеждению Бердяева, обречена на бездуховность: «Цивилизация пытается осуществлять “жизнь”. Она создает могущественное германское государство, могущественный капитализм и связанный с ним социализм; она осуществляет волю к мировому могуществу и мировой организации. Но в этой могущественной Германии, империалистической и социалистической, не будет уже Гете, не будет великих германских идеалистов, не будет великих романтиков, не будет великой философии и великого искусства – все станет в ней техническим, технической будет и философская мысль»<sup>22</sup>.

Торжествуя по поводу феномена Ф. Ницше и успеха О. Шпенглера, Н. А. Бердяев провозгласил: «Тоска Ницше по трагической, дионисической культуре есть тоска, возникающая в эпоху торжествующей цивилизации. Лучшие люди Запада ощущали эту смертельную тоску от торжества мамонизма в старой Европе, от смерти духовной культуры – священной и символической – в бездушной технической цивилизации. Все романтики Запада были людьми, раненными, почти смертельно, торжествующей цивилизацией, столь чуждой их духу»<sup>23</sup>.

Идентификация германского опыта занимала внимание Бердяева до 1922 года. Еще в 1918 году он посвятил этой проблеме целый раздел своей книги «Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности». Показательно название этого раздела – «Религия германизма». Это, пожалуй, одна из наиболее искренних, глубоких, законченных и далеких от ксенофобии попыток носителей русской идеи во всех ее проявлениях проникнуть в сущность «германского духа», вызвать его на свет, словно загадочного, могучего и пугающего джинна, определить его, поименовать (навесить ярлык?) и, наконец, успокоиться (преодолеть собственные комплексы и перестать опасаться?).

Бердяев подчеркнул, что отношение русских мыслителей и политических деятелей к «духу и материи германизма» противоречиво и схематично. Одни полагают, что «не существует никакой связи между старой Германией – Германией великих мыслителей, мистиков, поэтов, музыкантов – и новой Германией – Германией материалистической, индустриалистической, империалистической». Для них «связь между немцем-романтиком и мечтателем и немцем-наильником и завоевателем остается непонятной». По мнению других, «германский идеализм в конце концов и должен был на практике породить жажду мирового могущества и владычества – от Канта идет прямая линия к Круппу». Русский философ, следуя утверждению, согласно которому «материализм есть лишь направление духа», попытался преодолеть отмеченную упрощенность восприятия германского опыта и пришел к соответствующему своим убеждениям выводу: «То, что мы называем германским материализмом, – их техника и промышленность, их военная сила, их империалистическая жажда могущества – есть явление духа, германского духа. Это – воплощенная германская воля».

Согласно Бердяеву, немец «отвергает мир, не принимает извне, объективно данного ему бытия как некритической реальности». В отличие от романских народов европейского Юга, которым мир «представляется ос-

вещным солнечным светом», германский народ как народ-северянин, противостоящий суровой природе, абсолютизирует свою волю и мысль. «Немец – не догматик и не скептик, он критицист, – утверждал Бердяев. – ...Он волюнтарист и идеалист». Вспоминая Экхардта и Лютера, Канта и Фихте, Гегеля и Гартмана, Бердяев сделал заключение: «Настоящий, глубокий немец всегда хочет, отвергнув мир как что-то догматически навязанное и критически не проверенное, воссоздать его из себя, из своего духа, из своей воли и чувства».

«Немецкое сознание всегда нормативное. Немец не приобщается к тайнам бытия, он ставит перед собой задачу, долженствование. Он колет глаза всему миру своим чувством долга и своим умением его исполнять, – резюмировал Бердяев. – Другие народы немец никогда не ощущает братски, как равные перед Богом, с принятием их души, он всегда их ощущает как беспорядок, хаос, тьму, и только самого себя ощущает немец как единственный источник порядка, организованности и света, культуры для этих несчастных народов».

Отношение приверженцев русской идеи к духу германизма, к вере германского разума «в свою организаторскую миссию в мире, духовную и материальную», выразилось в противопоставлении ими германского сознания русскому. Порядок, организация, дисциплина, рационализм, техницизм, формализм – в этих проявлениях германского мировосприятия носители идеи русского мессианизма видели нечто глубоко чуждое русской национальной почве. Германское сознание, по словам Бердяева, «импонирует, но эстетически не привлекает». По его же оценке, «трагедия германизма есть прежде всего трагедия избыточной воли, слишком притязательной, слишком напряженной, ничего не признающей вне себя, слишком исключительно мужественной...».

Отметив, что «нам, русским, особенно противен этот немецкий формалистический пафос, это желание все привести в порядок и устроить», Бердяев видит в германском рационализме и волюнтаризме «трагедию, противоположную трагедии русской души»: «Германский народ – замечательный народ, могущественный народ, но народ, лишенный всякого обаяния». Перспективы развития Германии представлялись Бердяеву проблематичными: «В германском духе нет безграничности – это в своем роде великий и глубокий дух, но ограниченный, отмеренный дух, в нем нет славянской безмерности и безгранности».

Вердикт Бердяева неутешителен для «религиозного германского мессианизма»: «Германец менее всего способен к покаянию. И он может быть добродетельным, нравственным, совершенным, честным, но почти не может быть святым. Покаяние подменяется пессимизмом... Апокалипсис германцы целиком предоставляют русскому хаосу, столь ими презираемому. Мы же презираем этот вечный немецкий порядок... Центральной германской Европе не может принадлежать мировое господство, ее идея – не мировая идея. В русском духе заключен больший христианский универсализм, большее признание всех и всего в мире»<sup>24</sup>.

Приверженец появившегося в 1920-е годы евразийского толкования идеи русского мессианизма, Н. С. Трубецкой идентифицировал германское мироощущение как эгоцентрическое, националистически высокомерное<sup>25</sup>.

Так или иначе любой автор, пытавшийся заглянуть в будущее России, вынужден был ответить и на вопрос о том, что ожидает в этом будущем ее



соседа – Германию. В этой связи огромный интерес, на наш взгляд, представляет стремление осмыслить исторические перспективы Германии, проявившееся в отечественной социокультурной утопии на грани XIX–XX столетий.

К началу XX века русская утопическая литература, отдаляясь от классических образцов с их первичностью нравственного идеала, быстро модернизировалась (во многом – под влиянием новейшей западной литературы) и концентрировалась на первоочередном выражении идеала социальной организации, разумного устройства общества. При этом многочисленные авторы выстраивали свои прогнозы сообразно собственным политическим убеждениям, и на старте XX века русская литературно-утопическая мысль в целом соответствовала известной классификации К. Мангейма, одного из основателей социологии знания, выделившего в 1929 году четыре уровня утопической рефлексии: религиозно-хилиастическое, либерально-гуманистическое, консервативное и социалистическо-коммунистическое сознание<sup>26</sup>.

Русская литература досоветского периода традиционно служила ареной острейшей борьбы идей – в силу особенностей политических реалий России (отсутствие, а впоследствии неразвитость парламентаризма, стесненность процесса образования политических партий и т. д.). И конечно же, особенно ярко борьба мнений относительно альтернатив развития страны выразилась в крайне интересном, но, к сожалению, слабо изученном жанре отечественной прозы – социокультурной утопии. Именно этот жанр позволял сторонникам той или иной альтернативы в известной степени произвольно конструировать некое идеальное будущее, воплощающее осуществленный политический идеал.

«Мечтатели и провозвестники новых политических и социально-экономических оснований общественного устройства придавали своим планам ясность и занимательность, излагая их в виде романов или путешествий, – констатировал составитель раритетного каталога утопий В. В. Святловский. – Беллетристика, став излюбленной формой выражения социальной мысли, обрисовывала государство будущего – новый социальный строй – в определенной и законченной картине»<sup>27</sup>.

Ему вторит автор фундаментального труда «История утопии», заметный персонаж политической и культурной жизни Польши последней трети XIX – первой трети XX века А. Свентоховский: «Человеческая масса увлекается каким-нибудь учением только тогда, когда это учение согревает им чувства». «Недостаточно бывает дать им принципы желательного общественного строя, им надо видеть этот строй целиком, во всех мелочах и найти в нем удовлетворение всех своих нужд и опасений, – продолжает польский либерал. – Поэтому утописты старались наполнить свои планы иллюзией живой действительности и касались мельчайших деталей»<sup>28</sup>.

Наконец, знаменитый деятель бельгийской и международной социал-демократии рубежа XIX–XX веков Э. Вандервельде похожим образом определяет задачи утопической литературы: «Такие литературные произведения приятно конкретизируют абстрактные схемы, отвечают на тысячу мелких вопросов, которые срываются с языка неверующих, приучают нашу мысль свободно двигаться вне исторических категорий...»<sup>29</sup>.

А. Свентоховский высказал спорное мнение о том, что утопий «более всего произвели французы, затем – англичане, менее – немцы и итальянцы, а у славян можно только отыскать слабые зародыши их», что объясня-

ется экономической и политической неустроенностью (не отсталостью!) славянских народов: «Может ли быть утопистом народ, сброшенный или в продолжение целых веков скатывающийся в бездну несчастья?»<sup>30</sup>.

Из далекого XVIII столетия тезис польского прогрессиста печально оспаривает М. М. Херасков, один из пионеров русской литературной утопии: «...ежели нет благополучных обществ на земле, то пусть они хотя в книгах находятся и утешают наши мысли тем, что и мы со временем можем учиниться счастливыми»<sup>31</sup>. Цель своего участия в развитии утопического жанра поясняет известный публицист-почвенник, экономист, выступавший против мероприятий С. Ю. Витте, консервативный общественный деятель конца XIX – начала XX века С. Ф. Шарапов: «Я хотел в фантастической и, следовательно, довольно безответственной форме дать читателю практический свод славянофильских мечтаний и идеалов, изобразить нашу политическую и общественную программу как бы осуществленною. Это служило для нее своего рода проверкой. Если программа верна, то в романе чепухи не получится»<sup>32</sup>.

До сих пор существует ошибочное, на наш взгляд, мнение, согласно которому утопическая литература в России имела сугубо коммунистическую окраску, что было обусловлено спецификой российского феномена интеллигенции с ее страдательностью, жертвенностью, обостренным чувством справедливости, оппозиционностью в отношении любых проявлений социально-политической активности автократической власти. В частности, А. Свентоховский заметил: «До сих пор утопия принимала обыкновенно вид социализма и коммунизма. Это объясняется тем, что она выступала в защиту народных масс, угнетенных и эксплуатируемых привилегированным меньшинством, являющимся главным виновником общественной несправедливости»<sup>33</sup>. Именно такая точка зрения получила преобладающее развитие в отечественной историографии, хотя другой признанный исследователь утопической литературы – В. В. Святловский – в 1922 году утверждал обратное, настаивая на том, что до 1917 года «Красная звезда» А. А. Богданова «была единственной русской утопией с социалистическим содержанием», к тому же это «утопия не социальная; она должна быть отнесена к типу технических утопий»<sup>34</sup>.

Очевидно, оба утверждения далеки от истины. Социалистическая утопия в России была достаточно развита (вспомним хотя бы Н. Г. Чернышевского). С другой стороны, социализм – отнюдь не единственная идеологическая составляющая мощного пласта отечественной утопической литературы.

Само понятие «социокультурная утопия» требует уточнения, поскольку является предметом многолетней неутихающей дискуссии. На рубеже XIX – XX столетий Ф. Клейнвехтер заметил, что уже с XVII века становится популярной особая форма литературной утопии – *staatsromane*, т. е. «государственный роман», повествующий о путешествиях по вымышленным странам и отражающий прежде всего описание их совершенного государственного устройства<sup>35</sup>. По убеждению А. Фойгта, утопии – это «идеальные образы других миров, в возможность существования которых можно лишь верить, так как научно она не доказана»<sup>36</sup>. В. Ф. Тотомианц дополнил это определение так: «Утопией можно назвать все те построения лучшего социального будущего, которые не нашли практического осуществления»<sup>37</sup>. В. В. Святловский в своем «Каталоге утопий» относит к этому

жанру «только те утопические произведения, которые имеют преимущественно экономическое, социально-философское или социально-политическое содержание», оставляя за его пределами «утопии в технике, описания несуществующих стран или чудовищ, утопии явно сказочного или сатирического характера, утопии-фантазии из звериного эпоса»<sup>38</sup>.

Более современным и полным представляется мнение В. П. Шестакова: «На протяжении истории утопия как одна из своеобразных форм общественного сознания воплощала в себе такие черты, как осмысление социального идеала, социальная критика, стремление бежать от мрачной действительности, а также попытки предвосхитить будущее общества»<sup>39</sup>. В. Гуминский утверждает, что утопия как социальная фантастика – самая устойчивая разновидность фантастического творчества в человеческой истории, «тот тип фантастики, который тесно связан с самой природой общества и является своеобразной теоретико-художественной формой компенсации ущербной социальной действительности»<sup>40</sup>. Интересна и позиция Э. Я. Баталова: «Утопию можно определить как произвольно сконструированный образ идеального социума, принимающего различные формы (общины, города, страны и т. п.) и простирающегося на всю жизненную среду человека – от внутреннего его мира до космоса»<sup>41</sup>.

«Отличительная черта русской утопии, делающая ее столь непохожей на западноевропейскую, – отсутствие в ней детальной государственной регламентации. Принцип этой утопии такой: чем меньше государственно-го стеснения, тем лучше, – полагает С. Калмыков, концентрируя внимание на специфике отечественной литературной утопии 2-й половины XIX – начала XX века. – Другая отличительная черта русской утопии – ее всеобщий и даже вселенский характер: приглашаются все народы без различия языков и рас»<sup>42</sup>. На наш взгляд, этот вывод является несколько поспешным и субъективным, несущим известный отпечаток политической конъюнктуры.

В свою очередь, А. С. Ахиезер, которого трудно упрекнуть в следовании конъюнктуре, трактует утопию слишком расплывчато и абстрактно: она – «представление об идеальном обществе, не критическая уверенность в возможности непосредственного воплощения в жизнь традиционных, мифологических, возможно, модернизированных идеологических экспектаций»<sup>43</sup>.

Более взвешенным представляется суждение Э. Я. Баталова: «Любой социально-утопический проект – это “слепок” с породившего его общества, обратная проекция одной исторической эпохи в другую (прошлого – в настоящее, настоящего – в будущее и т. п.)»<sup>44</sup>. Утопическое сознание Э. Я. Баталов вслед за И. В. Бестужевым-Ладой определяет как «сознание, порывающее с объективными законами функционирования и развития общества и полагающее его идеальный образ путем произвольного конструирования»; социальная же утопия идентифицируется этим автором как «произвольно сконструированный образ желаемого (и в этом смысле идеального) общества»<sup>45</sup>.

По мнению Л. Сарджента, в классической утопии первичен нравственный идеал, а социальная организация вторична. В современной же утопии главное – разумная организация. Утопия, по Л. Сардженту, есть не что иное, как подробное и последовательное описание воображаемого, но локализованного во времени и пространстве общества, построенного на основе

альтернативной социально-исторической гипотезы и организованное (как на уровне институтов, так и на уровне человеческих отношений) совершеннее, чем то общество, в котором живет автор<sup>46</sup>.

Немалый интерес в процессе изучения и осмысления литературного жанра социокультурной утопии представляют статьи германских исследователей, опубликованные в материалах Билефельдского междисциплинарного коллоквиума<sup>47</sup>.

Заметим, что особую ценность в типологизации социокультурных утопий, изучении взаимодействия между утопией и традицией, определении специфики этой формы отражения общественно-политической мысли представляют работы таких крупных европейских мыслителей XX века, как К. Мангейм и Е. Шацкий, которые сумели не только пристально рассмотреть феномен утопичности сознания, но и поставить под сомнение границу между утопией и политикой<sup>48</sup>.

Наконец, бесспорно утверждение К. В. Чистова: «Утопическое мышление, или утопическое творчество, т. е. стремление представить себе возможные очертания будущего идеального (или, по крайней мере, значительно лучшего по сравнению с современным) общества, родственно литературному, или шире – художественному творчеству»<sup>49</sup>.

Солидаризируясь с этим мнением известного фольклориста и литературоведа, позволим себе высказать собственное суждение о том, что составляет сущность анализируемого жанра. На наш взгляд, социокультурная утопия – это произведение, имеющее литературный сюжет и отражающее искреннее представление автора об идеальном обществе.

Именно сюжетность, авторство и искренность отделяют понимаемую таким образом социокультурную утопию от народных преданий о «некотором царстве» и мечтаний о золотом веке, с одной стороны, сатирической литературы – с другой, футурологических проектов – с третьей. Социальная утопия не является и научной фантастикой, хотя граничит с нею, ибо, в отличие от последней, утопия возникла задолго до тех времен, когда прогресс науки и техники стал в значительной мере определять общественное сознание. Литературная ценность социокультурных утопий проблематична. Зачастую авторы создавали откровенно слабые в литературном отношении сочинения; оправданием таким утопистам может служить то, что в утопическом жанре литературные достоинства важны, но не приоритетны.

Утопические произведения русских консерваторов в полной мере отразили ту аргументацию, с которой отечественный традиционализм противостоял либеральным и социалистическим идеям. На страницах романов, вышедших из-под пера консервативных утопистов, оживало некое будущее, в котором и Россию, и Германию ждали великие испытания. Но если романистам-консерваторам, многие из которых являлись видными общественно-политическими деятелями, грядущая Россия виделась процветающей и благоденствующей страной, то перспективы Германии представлялись им далеко не такими безоблачными. Это не удивительно – ведь Германия олицетворяла собой совсем не ту модель, по которой должна была, по их убеждению, развиваться Россия. Не случайно в ряде консервативно-утопических литературных проектов «альтернативной истории» критическая оценка исторического потенциала Германии и скрупулезный анализ «запаса прочности» германского народа занимают далеко не последнее место.

В романе Н. Н. Шелонского «В мире будущего» (1892), где действие происходит в цветущей Сибири в 2892 году, куда чудесным образом попадают русские ученые – современники автора, приводится панорамная картина перспектив русско-французского сотрудничества, развивающегося на фоне упадка Англии. Идея симбиоза России и Франции настолько захватила романиста, что он вообще отказал центрально-европейским народам в перспективах самостоятельного развития: «Германии и Австрии, как отдельных государств, не существует уже около тысячи лет. Пятьсот лет прошло, как и сами названные национальности перестали существовать»<sup>50</sup>.

В неоконченном романе «Через полвека» (1902), принадлежащем перу активного деятеля русского консервативно-монархического движения С. Ф. Шарапова<sup>51</sup>, некий житель Москвы, заснувший в 1899 году, просыпается в благоденствующей России в 1951 году, преобразованной согласно принципам доктрины позднего славянофильства. Знакомясь с географией заметно разросшейся Империи, герой узнает, что она привольно раскинулась от Северного и Адриатического морей на западе до Индийского и Тихого океанов на востоке. В состав России вошли Австрия, Чехия, Моравия, вся территория Польши, Восточная Пруссия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Румыния, Болгария, Греция, Афганистан, Иран, Маньчжурия.

Изучая «политическую летопись полувека», герой знакомится с историей заката германского могущества. Выясняется, что в 1900 году в обессиленном Китае начались массовые беспорядки, усмирить которые (а фактически – разделить Китай) поспешили европейские державы. Вдохновительницей похода Европы на Дальний Восток выступила Германия. Россия заняла в отношении Китая позицию дружественного нейтралитета, не участвуя в военной экспедиции «европейского концерта» и сосредоточившись на охране зоны Транссиба. Два года спустя в Китае развернулось широкое движение против европейского присутствия. Россия вновь воздержалась от интервенции, уступив Пекину Дальний и Порт-Артур и «исправив таким образом свои границы». И в этот раз в натиске Европы на Дальний Восток первенствовала Германия – 200-тысячный немецкий экспедиционный корпус проводил многочисленные карательные акции, всколыхнувшие российское общественное мнение. Китайский император обратился к царю за поддержкой. «Россия осталась нейтральной, но по секрету было разрешено офицерам, не выходя в отставку, поступать в китайские войска, – увлеченно делится с гостем из прошлого молодой профессор Тульских высших политехнических курсов. – Негодование против немцев было так велико, что этим разрешением воспользовалось множество наших офицеров запаса». Ведомые русскими командирами, китайские войска стали одерживать победы, что привело в конце концов к разрыву дипломатических отношений между Россией и Германией, а затем – к прямому военному столкновению, начавшемуся без официального объявления войны. Германские войска вошли в Царство Польское, но развить успех не смогли – армия союзной Берлину Австро-Венгрии сложила оружие. Оставшаяся в одиночестве Германия, изнуренная военными кампаниями в далеком Китае, оказалась не в состоянии продолжать борьбу. Русские войска заняли Берлин, французские – перешли Рейн и оккупировали Эльзас и Лотарингию, английские – захватили германские колонии и флот.

Переход Центральной Европы и Балканского полуострова под юрисдикцию православного государства усугубил и без того глубокий духовный кризис

католической части Европы, в большинстве своем отшатнувшейся от папства и распавшейся на автокефальные национальные церкви, в т. ч. и германскую<sup>52</sup>.

В утопическом сюжете выдающегося религиозного философа В. С. Соловьева «Краткая повесть об Антихристе» (в 1901 году увидело свет уже 3-е ее издание) приведены апокалиптические пророчества со счастливым концом. Начавшийся XX век, по мнению автора, должен стать «эпохой последних великих войн, междоусобий и переворотов». Более того, этому веку суждено явиться временем торжества панмонголизма, возникшего в Японии в конце XIX столетия. «Новое монгольское иго над Европой» длится полвека, сопровождаясь глубоким смещением и взаимопроникновением европейских и восточных идей, ренессансом «древнего александрийского синкретизма». Освобождение Европы достигается «международной организацией соединенных сил всего европейского населения»; в результате «старый традиционный строй отдельных наций повсюду теряет значение, и почти везде исчезают последние остатки старых монархических учреждений». Постмонгольская Европа резко отличается от домонгольской и превращается в союз более или менее демократических государств – Европейские Соединенные Штаты. Столицей этого союза становится Берлин, а пожизненным президентом избирается всемирно известный ученый и богатейший капиталист, которого Соловьев поименовал так: Грядущий человек. Он обеспечивает вселенский мир и пишет мудрейшую книгу, которая с гениальной художественностью возвещает человечеству Истину, примирившую все противоречия.

Но этим сверхчеловеком движет тщательно скрываемая от посторонних глаз гордыня, вобравшая в себя «признаки совершенно исключительного, напряженного самолюбия и сомнения при отсутствии истинной простоты, прямоты и сердечности». Грядущий человек в своих помыслах противопоставляет себя Христу. В ночи новому вершителю судеб человечества является пронзительный взгляд его истинного наставника – и пришедший в мир Антихрист подолгу беседует с Сатаной.

Созвав в Иерусалиме на четвертом году своего «царствования» вселенский христианский собор, Антихрист, получивший к этому времени диплом доктора теологии Тюбингенского университета, упивается своим могуществом и претендует на роль божественного заступника всех христиан. Большинство – «поверхностные христиане» – готово поверить ему, соблазнившись посулами или попав под воздействие магии всемогущего повелителя. Меньшинство, не убежденное в том, что присутствует при втором пришествии, объединяется вокруг своих вождей – папы Петра II (итальянца по происхождению), православного старца Иоанна и немецкого протестантского теолога Эрнста Паули, которые демонстративно придвигаются друг к другу, показывая Врагу единство истинных христиан независимо от их конфессиональной принадлежности. Иоанн распознает в императоре Антихриста и гибнет по его воле, папа Петр предает Грядущего человека анафеме и тоже гибнет. Немец Паули (Павел) от лица меньшинства делегатов собора призвал полумиллионную армию паломников, «удалившись в пустыню, ожидать неминуемого пришествия истинного Владыки нашего Иисуса Христа». Возглавляемые немецким теологом противники Антихриста дождались воскрешения двух убитых праведников, а затем все вместе двинулись к Синаю. Туда, в Аравийскую пустыню, стали стекаться «толпы верных ревнителей истины». В ходе последней битвы

добра и зла, разыгравшейся у Мертвого моря, воинство Антихриста сгинуло в огненных потоках лавы, извергнувшейся из внезапно открывшегося вулкана. Христиане, ведомые Петром, Иоанном и Павлом, двинулись к горе Сион – и «увидели Христа, сходящего к ним в царском одеянии и с язвами от гвоздей на распростертых руках»<sup>53</sup>.

Показательно, что в своем сюжете проповедовавший идеал всемирной теократии В. С. Соловьев наиболее активную, действенную борьбу с Антихристом препоручил именно немецкому теологу.

В 1921 году один из вождей белой эмиграции, казачий генерал П. Н. Краснов, проживавший, между прочим, в Германии, в местечке Вальдфриден под Дроссеном, создал роман «За чертополохом» – пожалуй, самую яркую и масштабную русскую монархическую утопию, своеобразную эпопею (правда, незавершенную). Действие романа разворачивается во 2-й половине XX века в России, которая к этому времени является для Европы загадочной *terra incognita*, чьи границы непроницаемо защищены плотной стеной гигантского чертополоха – он буйно разросся на земле, обильно удобренной телами сотен тысяч красноармейцев, погибших при безрассудной попытке большевистского руководства прорваться в Европу и устроить там революцию. Одну шестую часть суши, некогда занимаемую великой страной, европейские картографы закрасили черным цветом и написали поверх красной краской страшное слово «чума». Сама же Европа (а отчасти и Америка) к 19\*\* году испытывает социальные катаклизмы и экономические потрясения, связанные с растлевающим влиянием «слуг Третьего интернационала», падением нравственности, издержками демократической формы правления и всесилием золотого тельца. Отчаянная попытка нескольких смельчаков (германские подданные русского происхождения, а также немец, немка и американка) пробиться на восток сквозь чертополох увенчалась успехом. Преодолев заросли, отважные путешественники, влекомые к неведомой родной для большинства из них земле, два дня шли по пустынному, но живому лесу, прежде чем обнаружили следы местных жителей. Немецкий профессор, доктор медицины и философии Берлинского университета депутат рейхстага Карл Клейст, глядя вокруг, радостно заключил: «Мы открыли новую землю, богатую землю, но землю пустую. Нам нужно возможно скорее вернуться домой и снаряжать экспедицию для колонизации этого чудного края... Сто лет тому назад мы, немцы, говорили, что славяне – это навоз для германской расы. Они сыграли роль этого навоза. Поля утучнены кровавыми жертвами, земля отдохнула и стала девственно плодородной. Германскому народу пора приступить к ее обработке»<sup>54</sup>.

Но этим планам не суждено сбыться, поскольку ошеломленные путешественники обнаруживают в бывшей России – Россию новую, могучую, процветающую, живущую под властью великого царя в полной гармонии с разумом, Богом и природой. Государь Михаил II Всеволодович уже готов вырубить чертополох и послать непобедимые воздушные армии в Европу, дабы спасти погрязшие в мерзости социальной розни западные народы, передать им рецепт построения благоденствующего, бесконфликтного, здорового общества.

В беседе с пришельцами царь делится своими сомнениями по поводу возможности установления дружественных отношений с Германией конца XX столетия: «Современная Германия кажется нам столь отвратительной,

что мы не знаем, сможем ли мы дружить с нею, как дружили наши предки с Германией Фридрихов и Вильгельмов!».

Путешественники горячо обсуждают увиденное и приходят к выводу: Европу спасет лишь монархия, демократия же окончательно погубит ее. Дальнейшие перипетии романа иллюстрируют эту идею, квинтэссенцию которой выразил 80-летний депутат рейхстага, ветеран Первой мировой войны, почитатель Гинденбурга, германский патриот, аристократ по рождению: «Никогда народ не может сговориться и дружить с народом. Слишком много мнений, слишком много голов. Дружить и жертвовать своими самолюбиями во имя общего дела могут только коронованные монархи. И Германии надо искать такого. Германия ищет его сейчас. Stahl Helm заговорил! Он найдет нужное имя, он скажет то великое слово, которое спасет и возвеличит Германию...».

Спустя два года российская граница распахнулась, и Польша с Финляндией, покончив с социализмом, добровольно перешли под управление русского царя. Восстановлено железнодорожное сообщение между Берлином и Санкт-Петербургом. В Германии началось медленное «оздоровление во всем»: «Она вся в кипении. Еще держится социалистическое правительство, но оно уже при последнем издыхании. Оно продолжает лишь бороться с церковью и насиловать школу и искусство. Коммунисты объявлены вне закона. Общество Stahl Helm ширится и растет. Несмотря на школу, вопреки школе в семье выращивается старый, благородный немец, верующий в Бога и любящий Родину». Огромную роль в переходе к возрождению старой Германии сыграли немецкие женщины. Прекрасная половина германского народа «в критическую минуту жизни государства отпустила остриженные волосы, надела скромный национальный костюм, бросила нахт-локалы, дансинги и кинематографы и, требуя законного брака, стала строить семью». В Берлине вновь танцевали «старый, меланхоличный вальс». В Баварии произошла реставрация монархии, что сразу же привело к снижению налогов в два раза («содержать одного короля много дешевле, чем полтысячи депутатов»). Автомобильный магнат Бенц разорился, так как вернувшиеся к консервативным ценностям немцы предпочитают «ходить пешком, наслаждаясь природой». Не за горами окончательное возрождение старой доброй Германии<sup>55</sup>.

Помимо «государственных романов» с их панорамным описанием будущего идеального социально-политического устройства, следует упомянуть еще об одном специфическом литературном жанре, который представляет существенный интерес в контексте изучения восприятия российскими консерваторами исторического опыта Германии и определения перспектив ее развития. Этот жанр, обозначенный известным шведским литературоведом А. Энгхольмом как «литературная (или воображаемая) война», особенно ярко проявился в мировой литературе конца XIX – начала XX века, ужасающе отчетливо провозвестившей приближение Первой мировой войны.

Заметим, что военно-фантастические романы, в немалом количестве публиковавшиеся на рубеже веков, были скорее не романами-предупреждениями (они характерны для более позднего времени, когда человечеством уже был накоплен негативный опыт мировых побоищ), а являли собой два типа произведений жанра «литературной войны» – военно-технические предвидения (пропаганда технических идей, опережавших эпоху лишь на



полшага) и геополитические размышления (определение литераторами, зачастую имевшими богатый боевой опыт, «вероятного противника» и направление главных ударов, прогнозирование итогов войн).

По мнению А. Энгхольма, повествования о «воображаемых войнах» «в большой мере являются отражением той эпохи, в которую были написаны, а также зависят от национальной принадлежности автора». Писатели же «фиксируют историческую возможность конфликтов между страной автора и ближайшей крупной державой» (так, в британской литературе веками развивались сюжеты о «воображаемых войнах» Великобритании с Францией, позднее – с Германией; японские фантасты писали о войнах между Японией и Китаем, а затем между Японией и США). Симптоматична и связь отмеченного литературного направления с так называемой «параллельной историей», получившей развитие в XX веке<sup>56</sup>.

Характерно, что в отечественном литературоведении этот жанр почти не исследован. Также показателен тот факт, что две более или менее заметные попытки проанализировать литературу о «воображаемых войнах» были предприняты в ходе либо в канун мировых войн. Книга В. Фриче появилась в Москве в разгар сражений на фронтах Первой мировой – в 1916 году, а работа О. Цехновицера – в 1938 году, в преддверии Второй мировой<sup>57</sup>. Оба издания – пусть очень неполные и тенденциозные – способствовали выявлению жанра «литературной войны», на развитие которого в России непосредственно влияла многоплановость ее внешнеполитических устремлений. Поливариантность внешнеполитической активности (Центральная Европа, Балканы, Ближний, Средний и Дальний Восток) обостряла проблему идентификации союзников и противников. С кем должна быть Россия – с Германией против океанских империй Запада или наоборот? Этот вопрос для литераторов (и, следовательно, для общественного мнения России) был в целом решен в 1907 году, когда Россия и Британия разграничили сферы влияния в Центральной Азии. Именно тогда, после урегулирования англо-русских противоречий, в отечественной литературе «воображаемых войн» меняется главный противник – место Лондона, заносчивого и расчетливого мастера дипломатических интриг, с которым русские армия и флот успешно «воевали» на страницах повестей и романов целого ряда авторов после поражения России в Крымской войне (1856), прочно занимает устрашающий своей технической и военной мощью Берлин.

Эпоха «литературного» противостояния России и Германии в рамках данного жанра длилась сравнительно недолго – с упомянутого выше 1907 года до победы большевизма в 1917 году, когда литература о «воображаемых войнах» (теперь уже либо советская, либо эмигрантская) поменяла ориентиры<sup>58</sup>. По меньшей мере три автора, испробовавших свои силы в отмеченном жанре, были офицерами (В. И. Семенов, Л. Г. Жданов и некий П. Р-цкий) и, судя по всему, разделяли общие положения политической доктрины русских консерваторов. Остановимся несколько подробнее на наиболее интересных романах этого десятилетия.

В 1908 и 1909 годах вышли в свет «Царица мира» и «Цари воздуха» Владимира Семенова, который участвовал в Цусимском сражении на броненосце «Суворов» и испытал горечь японского плена. Может быть, по этой причине отставной военный моряк связал свои надежды не с морем, а с небом – с авиацией, которая, по его мнению, должна выручить Россию и Англию в предстоящем противоборстве с Германией.

Петр Р-цкий в техническом романе «Война “Кольца” с “Союзом”» (1913) обыгрывает сценарий грядущих битв Антанты с Тройственным союзом: германские войска, быстро мобилизуясь, занимают Варшаву, одновременно продвигаясь на Западном фронте, где их останавливают англо-французы. На море очень удачно действует русский флот, сковавший рейхсмарине, не дожидаясь, пока подоспеют британские военно-морские силы. На суше русские армии начинают контрнаступление и подступают к Берлину.

Реальные события Первой мировой войны не уложились в рамки, определенные им консервативными авторами. Европу лихорадило: одна за другой обрушились три казавшиеся такими прочными великие империи. По сравнению с катаклизмами, происходившими в России, Германии и Австро-Венгрии, события в четвертой империи – Османской – казались чем-то далеким и второстепенным. Случилось то, что поэт О. Э. Мандельштам пророчески ощутил уже в 1914 году, выразив свое предчувствие патетически образно и пронзительно-тревожно:

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта  
Гусиное перо направил Меттерних,  
Впервые за сто лет и на глазах моих  
Меняется твоя таинственная карта...

Российский консерватизм потерпел поражение в борьбе с большевизмом и вынужден был превратиться – по крайней мере на три четверти века – в одну из разновидностей эмигрантской социально-политической мысли. Прогнозы консервативных утопистов не оправдались применительно и к России, и к Германии. Более того, поскольку Россия в ее советском облике оказалась для консерваторов, по меткому выражению одного из представителей «бытового» традиционализма, «страной, которую мы потеряли», утрачивают смысл и суждения консервативных идеологов относительно исторических судеб и перспектив Германии как антипода этой «потерянной» страны. Волна, накрывшая старую Россию как некую новую Атлантиду, заставила спасшихся атлантов грустно размышлять: а существовала ли на самом деле эта страна? В безостановочном поиске затонувшей России русскому консерватизму, осевшему на соседних «материках» (в том числе и в Германии), долгое время оставалось заниматься исторической реконструкцией утраченной социокультурной среды, а не противопоставлением ее окружающему миру.

<sup>1</sup> См.: *Russen und Russland aus deutscher Sicht: 9–17. Jahrhundert*. München, 1985; *Russen und Russland aus deutscher Sicht: 18. Jahrhundert*. München, 1987; *Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht: 11–17. Jahrhundert*. München, 1988; *Deutsche und Deutschland in der russischen Lyrik des frühen 20. Jahrhunderts*. München, 1988; *Оболеская С. В.* Образ немца в русской народной культуре XVIII–XIX вв. // *Одиссей. Человек в истории*. М., 1991; *Русские и немцы в XVIII в. Встреча культур* / Отв. ред. С. Я. Карп. М., 2000; и др.

<sup>2</sup> См.: *Rormoser G., Frenkin A.* Neues konservatives Denken als bberlebensimperativ: ein deutsch-russischer Dialog. Frankfurt, M., 1996.

<sup>3</sup> См.: *Huntington S. P.* Conservatism as an Ideology // *The American Political Science Review*. 1957. Vol. 51. P. 454–473.

<sup>4</sup> См.: *Мангейм К.* Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 194. См. также: *Hofmann W.* Karl Mannheim zur Einführung. Hamburg, 1996. S. 83–124; *Рахшмир П. Ю.* Диагнозы и рецепты Карла Мангейма // Рахшмир П. Ю. Идеи и люди: Политическая мысль первой половины XX века. Пермь, 1999. С. 199–221.

- <sup>5</sup> См.: Мангейм К. Консервативная мысль // Мангейм К. Диагноз нашего времени. С. 593, 596, 597.
- <sup>6</sup> См.: Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. С. 306–307, 389–390.
- <sup>7</sup> См.: Рахмиров П. Ю. Три консервативные традиции: Общее и особенное // Исследования по консерватизму. Вып. 2. Консерватизм в политическом и духовном измерениях. Пермь, 1995. С. 4–17.
- <sup>8</sup> См.: Степанов С. А. Черная сотня в России. 1905–1914 гг. М., 1992. Российские консерваторы. М., 1997; Гусев В. А. Консервативная русская политическая мысль. Тверь, 1997; Правые партии. 1905–1917: Документы и материалы: В 2 т. М., 1998; Пушкин С. Н. Историософия русского консерватизма XIX века. Нижний Новгород, 1998; Балуев Б. П. Спор о судьбах России: Н. Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». М., 1999; Репников А. В. Консервативная концепция российской государственности. М., 1999; Карцов А. С. Правовая идеология русского консерватизма. М., 1999; Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000.
- <sup>9</sup> См.: Русский консерватизм: проблемы, подходы, мнения // Отеч. история. 2001. № 3. С. 106–107.
- <sup>10</sup> См.: Там же. С. 124–125.
- <sup>11</sup> См.: Мангейм К. Идеология и утопия. С. 195–197.
- <sup>12</sup> Сизигирева Т. А., Подчиненов А. В. Русская идея как художественный феномен. Екатеринбург, 2001. С. 21.
- <sup>13</sup> Федотов Г. П. Судьба империй // Федотов Г. П. Судьба и грехи России: В 2 т. Т. 2. СПб., 1992. С. 308.
- <sup>14</sup> Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 619.
- <sup>15</sup> Победоносцев К. П. Аксаковы // Победоносцев К. П. Сочинения. СПб., 1996. С. 132.
- <sup>16</sup> Победоносцев К. П. Московский сборник // Там же. С. 272–273, 278.
- <sup>17</sup> См.: Суворин А. С. Дневник. М., 1992. С. 109–111.
- <sup>18</sup> См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 88, 179.
- <sup>19</sup> Там же. С. 174, 175, 177, 479, 508.
- <sup>20</sup> Там же. С. 266, 267, 322.
- <sup>21</sup> Победоносцев К. П. Вопросы жизни // Победоносцев К. П. Сочинения. С. 195
- <sup>22</sup> Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990. С. 165.
- <sup>23</sup> Там же. С. 163.
- <sup>24</sup> Бердяев Н. А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М., 1990. С. 145–151.
- <sup>25</sup> См.: Трубецкой Н. С. Об истинном и ложном национализме // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн: Антология. М., 1993. С. 36, 46.
- <sup>26</sup> См.: Мангейм К. Идеология и утопия. С. 180–207.
- <sup>27</sup> Святловский В. В. Русский утопический роман. Пг., 1922. С. 3.
- <sup>28</sup> Свентоховский А. История утопии. М., 1910. С. 418.
- <sup>29</sup> Le collectivisme. Bruxelles, 1906. P. 205.
- <sup>30</sup> Свентоховский А. Указ. соч. С. 419–421.
- <sup>31</sup> Херасков М. М. Полидор, сын Кадма и Гармонии. М., 1794. С. 3.
- <sup>32</sup> Шарапов С. Ф. Через полвека: Фантастический политико-социальный роман // Шарапов С. Ф. Сочинения. Т. 8. М., 1902.
- <sup>33</sup> Свентоховский А. Указ. соч. С. 425.
- <sup>34</sup> Святловский В. В. Русский утопический роман. С. 9.
- <sup>35</sup> См.: Kleinwachter F. Die Staatsromane. Wien, 1891.
- <sup>36</sup> Фойгт А. Социальные утопии. СПб., 1906. С. 6.
- <sup>37</sup> Тотомиянц В. Ф., Устинов В. М. Утопии: Социальный рай на земле. М., 1917. С. 3.
- <sup>38</sup> Святловский В. В. Каталог утопий. М.; Пг., 1925. С. 5.
- <sup>39</sup> Шестаков В. П. Эволюция русской литературной утопии // Русская литературная утопия. М., 1986. С. 7.
- <sup>40</sup> Гуминский В. О русской фантастике // Взгляд сквозь столетия: Русская фантастика XVIII и первой половины XIX в. М., 1977. С. 320.
- <sup>41</sup> Баталов Э. Я. В мире утопии: Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах. М., 1989. С. 23.
- <sup>42</sup> Калмыков С. В поисках «зеленой палочки» // Вечное солнце: Русская социальная утопия и научная фантастика второй половины XIX – начала XX века. М., 1979. С. 14.
- <sup>43</sup> Ахиезер А. С. Россия: Критика исторического опыта: (Социокультурная динамика России): В 3 т. Т. 2. Теория и методология: Словарь. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск, 1998. С. 526.

<sup>44</sup> Баталов Э. Я. В мире утопии. С. 26.

<sup>45</sup> Баталов Э. Я. Социальная утопия и утопическое сознание в США. М., 1982. С. 22–23; Бестужев-Лада И. В. Окно в будущее. М., 1970. С. 16, 37.

<sup>46</sup> См.: Sargent L. Introduction // British and American Utopian Literature. Boston, 1979. P. XIII.

<sup>47</sup> См. например: Utopieforschung: Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie / Hrsg. von Vosskamp W. Stuttgart, 1982. Bd. 3.

<sup>48</sup> См.: Мангейм К. Идеология и утопия; Шацкий Е. Утопия и традиция.

<sup>49</sup> Чистов К. В. Утопии и современность // Русские утопии. СПб., 1995. С. 22.

<sup>50</sup> Шелонский Н. Н. В мире будущего. М., 1892. С. 202, 212.

<sup>51</sup> Подробнее о взглядах С. Ф. Шарапова см.: Бугров Д. В. Социально-политические идеалы русского консерватизма конца XIX – начала XX века в творческом наследии С. Ф. Шарапова (историко-научный аспект) // Документ. Архив. История. Современность: Сб. науч. тр. Вып. 1. Екатеринбург, 2001.

<sup>52</sup> См.: Шарапов С. Ф. Через полвека // Шарапов С. Ф. Сочинения. Т. 8. М., 1902. С. 53–57, 70.

<sup>53</sup> Там же. С. 178–193.

<sup>54</sup> Краснов П. Н. За чертополохом: Фантастический роман: В 2 кн. Кн. 1. Рига, 1928. С. 8–12, 63.

<sup>55</sup> Там же. Кн. 2. С. 54, 93–95, 166.

<sup>56</sup> См.: Энгхольм А. Литературная война (пер. Д. В. Бугрова) // Урал. следопыт. 1991. № 3. С. 53.

<sup>57</sup> См.: Фриче В. Германский империализм в литературе. М., 1916; Цехновицер О. В. Литература и мировая война. М., 1938.

<sup>58</sup> См.: Семенов В. И. Царица мира: Роман-фантазия. СПб., 1908; Он же. Цари воздуха: Роман-фантазия. СПб., 1909; Он же. Страшное слово. СПб., 1910; Р-цкий П. Война «Кольца» с «Союзом»: Повесть грядущих событий. СПб., 1913; Жданов Л. Г. Конец войны: Последние дни мировой борьбы. Пг, 1915; Он же. Последний день Гогенцоллернов. Пг, 1915; Колесников Н. В. Тевтоны: Секрет военного министерства. Казань, 1916.